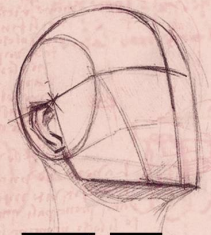
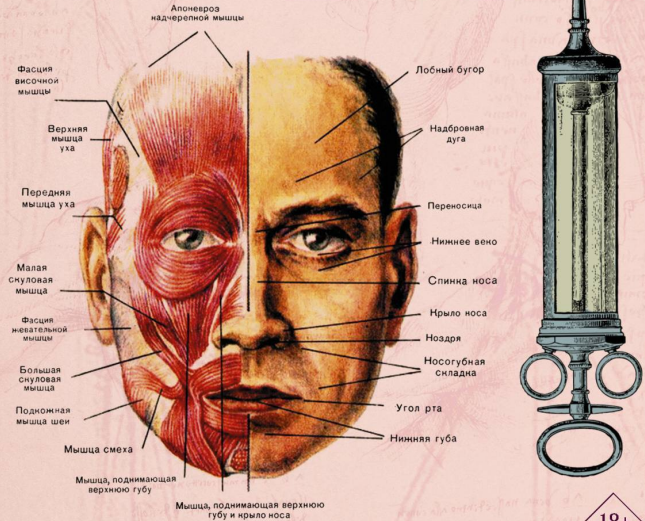
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ “БОЛЬШАЯ КНИГА”



Марина Степнова

Хирург

Роман



18+

Марина Львовна Степнова
Хирург

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4964404
Марина Степнова. Хирург: АСТ; Москва; 2013
ISBN 978-5-17-077153-0

Аннотация

Марина Степнова – автор романа «Женщины Лазаря» (шорт-лист премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Ясная Поляна», «Русский букер»), ее рассказы охотно печатают толстые журналы, блестящий стилист, а также главный редактор популярного мужского журнала.

В романе «Хирург» история гениального пластического хирурга Аркадия Хрипунова переплетена с рассказом о жизни Хасана ибн Саббаха – пророка и основателя государства исламитов-низаритов XI века, хозяина неприступной крепости Аламут. Хрипунов изменяет человеческие тела, а значит и судьбы. Даруя людям новые лица, он видит перед собой просто материал – хрящи да кожу. Ибн Саббах требует от своего «материала» беспрекословного повиновения и собственноручно убивает неугодных. Оба чувствуют себя существами высшего порядка, человеческие страсти их не трогают, единственное, что способно поразить избранных Богом, – земная красота…

Содержание

Часть первая 5
Часть вторая 47
Конец ознакомительного фрагмента. 72

Марина Степнова
Хирург

Хрипунову плевать было на людей. Хрипунов хотел стать Богом.

Что нужно человеку, решившему стать Богом?

Имя.

Промысел.

Деяние.

Жертва.

Все это было у Хрипунова.

И он стал Богом.

Он. Им. Стал.

Часть первая
Имя

Иглы. Искривленные режущие с тонким лезвием. Искривленные реверсивные режущие. Полукруглые режущие, суживающиеся к концу. Сверхизогнутые режущие. Режущие, суживающиеся к концу «грубые» в виде рыболовного крючка. Прецизионные, реверсивные режущие изогнутые. Прямые режущие. Троакарные полукруглые «грубые».

* * *

Аркадий Хрипунов – это звучало, как будто кто-то раздавил в кулаке грецкие орехи. Хорошо это звучало – Хейман Штейнталь наверняка остался бы доволен, если бы, конечно, хрипуновская мама была способна произнести слово «ономатопоэтическая». Но она, слава Богу, была не способна – она родилась счастливой, и умерла счастливой, всю жизнь мирно проносив в немудреной крови неведомую генетическую червоточину.

Ей повезло.

Хрипунову – нет.

Вообще-то хрипуновский папа хотел назвать сына Ванюшкой. Хрипуновская мама не возражала – она была внуч-

кой, дочкой и женой заводских алкоголиков, это, знаете ли, больше, чем психология, – это судьба. И быть бы Хрипунову банальным Иваном, жить в бараке, пить беленькую, загибаться на заводе да укачивать на ночь каменистой ладонью застарелый злой цирроз, если бы не два человека – Аркадий Гайдар и Хасан ибн Саббах.

Про первого хрипуновская мама что-то слышала в школе – но забыла. И не вспомнила бы, если б хрипуновский папа в одно прекрасное утро не взвесил мрачным взглядом неподъемное женино пузо, чреватое будущим наследником, и не пошел в завком – орать и бить кулаком по растрескавшейся полировке крепкого начальственного стола. Завком дрогнул под натиском дистиллированной пролетарской ярости и через месяц одарил ожидающую приплода чету ордером на двухкомнатную темную конуру на первом этаже облезлого дома – купеческой еще, стародавней, окраинной постройки. Именовалось все это великолепие: ул. Дружбы, д. 39, кв. 12.

До Хрипуновых в квартире проживали евреи, вполне советские, мирные, ручные – в микрорайоне ими даже гордились, как местной достопримечательностью, потому как никакой другой экзотики поблизости сыскать было нельзя – а евреи вот они, они всегда под рукой. Местная урла евреев не обижала, но пару раз в месяц аккуратно била им все окна. Не по злобе, а потому что на звездный звон и хруст медленно падающих в ночь стекольных пластов выскакивало из осве-

щенного розового нутра квартиры сразу все еврейское семейство, включая полоумную старуху Марию Исааковну, лет пятьдесят преподававшую в местной СШ №5 русскую литературу. И в этом ломком звоне и хрусте, в этих гортанных выкликах, в этом внезапном появлении из света в глухую, лопочущую листвой темноту было столько волшебного, завораживающего, почти театрального, что урла потрясенно замирала в ближайших кустах, ощущая, как сладко и томительно сосет под ложечкой странная, вращающаяся пустота.

Потом бархатный занавес медленно опускался, обдав зрителей тяжелым пыльным вздохом, и урла, слегка стесняясь пережитого катарсиса, вылезала из кустов и враскачечку шла к волшебной квартире – цыкать зубом и принимать от профессионально глухой и профессионально же приветливой Марии Исааковны дежурный стаканчик – мутненький, граненый, в мирное время простодушно служивший еврейскому семейству пристанищем для детских цветных карандашей. Как же, Марисакна, спасибочки, все помню – жы пиши с буквой ы, чу пиши и все такое. И не говорите – скока развелось кругом хулиганья! А Костик-то? Не, все сидит, да… Он бы живо их, того… Ну, в смысле… че, седни будем вставлять или до завтра переможетесь?

Зимой, заметьте, стекла не били никогда. Понимали. Деликатно терпели до весны – одинокие, угрюмые, низкорослые, тоскующие без единственного в мире по-настоящему прекрасного чуда. Алкали душой. Жаждали. Ждали.

Пока не дождались суетливого исхода, деревянных ящиков, чемоданов, неопрятных узлов, которые все выносили и выносили из подъезда, как будто там, в квартире, был бесконечный морг, который потребовалось срочно освободить к ноябрьским праздникам. И не успела захлопнуться за евреями государственная граница, как в брошенное жилище въехали Хрипуновы.

Квартира, манившая своим кукольным застекольным уютом всю местную шпану, лежала, вскрытая, как разоренный курган, жалко выставившая на всеобщий обзор вспоротое брюхо и предсмертно перемешанные культурные слои. Рассохшиеся доисторические резинки, стискивавшие чьи-то выпуклые пахучие ляжки, очески седых скрипучих волос, накрест схваченные бечевкой пачки школьных тетрадей, молоток, еще столетие назад потерявший деревянную ручку, какие-то ломкие от старости облигации довоенного займа, изувеченные игрушки и даже не пожелавшая эмигрировать мельхиоровая ложечка, дальновидно шмыгнувшая под плинтус, откуда ее ловко извлек веселый грузчик, нанятый Хрипуновым заносить шкаф и буфет. Извлек и с профессиональной ловкостью уронил в карман, мимоходом вытирая о штаны пыльные пальцы: грязно оказалось у евреев, просто тихий ужас, настоящий свинарник и видно, что не потому грязно, что укладывались, а потому, что сроду не убирались по-человечески. Ни разу за все свои шесть тысяч лет.

Хрипуновский папа мрачно матерился, наддавая плечом, надсаживаясь, вставляя в простенок продавленный супружеский диван, (когда-то красный, теперь просто потертый до цвета благородного бордо), на котором был в свое время зачат по пьяному шалому делу маленький Хрипунов, на который маленький же Хрипунов перебрался, когда перерос свою детскую зарешеченную кроватку, и на котором – спустя энное количество лет – хрипуновскому папе предстояло умереть. От цирроза, разумеется. А от чего еще умирают простые русские люди?

Всех глухо злила эта годами пластовавшаяся грязь, эта изнанка чужой, неинтересной жизни – и хрипуновского папу, и грузчика, и хрипуновскую старенькую мебель, не желавшую втискиваться в непривычное пространство, пропитанное ароматами неопрятной старости и просроченных специй. Даже маленький Хрипунов изнутри толкал негодующей ногой красную, до звона натянутую стенку матки.

И только хрипуновская мама, придерживая двумя руками тугое, выпуклое, байковое пузо, бродила среди осиротевших вещей с плывущим от умиления лицом и изумленно таращилась выпученным пупком то на выпотрошенную, зияющую малиново-бархатным нутром готовальню, то на валяющуюся на полу детгизовскую книжку, вполне крепенькую, лишь чуть, самую малость, потрепанную по обшлагам.

«Аркадий Гайдар, Голубая чашка», – она не спеша проехалась взглядом по названию, непроизвольно пришептывая

(как будто помогая себе читать) большими мягкими губами, размытыми по краям полноценной беременностью. И так же не спеша присела, крепко расставив круглые голые колени и удобно свесив между них основательный живот, – поднять занятную книжицу и припрятать от мужа, чтобы потом, когда маленький родится и немного подрастет, читать ему вечером, водя по строчкам сморщенным от только что вымытой посуды пальцем и ощущая, как мягко уперлась в бок головенка прикорнувшего подмышкой сонного детеныша. И в доме пахнет пирогом с капустой и картошкой-пюре (на молоке и на сливочном масле), а от детских волос – даже сквозь теплые кухонные запахи – доносится отчетливый аромат солнца и теплых птичьих гнезд. Запах, который лучше любой метрики скажет женщине, что ребенку еще не исполнилось пяти лет. И что он пока весь-весь – от завитка на макушке до аппетитной складочки под жирными ягодичками – мамин. Мамина игрушка.

Распрямиться она не успела, маленький Хрипунов еще раз с размаху ударил ее ногой в живот, да так ловко, что сам перевернулся в своем круглом пристанище и, зависнув на мгновение вниз головой, почувствовал, как привычный ало-черный мир испуганно вздрогнул, словно сдвинулись какие-то невиданные тектонические пласты, и вдруг начал ритмично пульсировать и сложно содрогаться. И с каждой волнистой судорогой, с каждой мощной спазмой к Хрипунову начал снизу приближаться странный бледный свет, похожий

на воронку, все быстрее вращающуюся то посолонь, то против, так что в момент внезапной смены противотока казалось, что это не воронка даже, а бешено вращающиеся винтовые ножи, вроде тех, что стоят в огромных, промышленных, электрических мясорубках.

Хрипунов попытался уклониться от этого света, натужно упираясь руками и ногами в крупно дрожащие стены, но свет нажимал, и Хрипунов обреченно обмяк и зажмурился, чтобы не видеть, как наливается желтым глаз приближающегося Апокалипсиса и как спешит к выходу немолодой, кривоногий, коренастый ангел с неясным, но очевидно азиатским лицом, что-то торопливо дожевывая на ходу и вытирая о затуманенные, покрытые мельчайшей изморосью крылья крепкие, узловатые пальцы – те самые персты, которыми следовало замкнуть измученному новорожденному всезнающие уста.

* * *

Иглы. Полукруглые колющие. Колющие «грубые» Мэйо. Изогнутые колющие. Колющие изогнутые на 5/8 окружности. Прямые колющие. Изогнутые с тупым концом.

* * *

Хрипунов-папа и заметно сбледнувший с лица веселый грузчик выволокли из квартиры мычащую от боли хрипуновскую маму – торопливо, но плавно, словно несли футляр от контрабаса, неуклюжий, неподъемный но скрывающий внутри нечто бессмысленное, хрупкое, и, по слухам, страшно дорогое. Мебельный фургон – слава-те! – никуда не делся, стоял на углу. Шофер, немолодой мужик с простым картофельным лицом, терпеливо спал в кабине, закинув храпящую, клокочущую пасть и уронив на руль набрякшие руки. От барабанного стука в дверь он немедленно пробудился и с готовностью включился в бессмысленную суету вокруг роженицы, которая, повиснув на руках у двух растерянных, потных мужиков, вдруг поджала колени и начала сложно и мучительно сокращаться – будто гигантская креветка или гусеница, к которой поднесли бесцветный, дневной, спичечный огонек.

Шофер, движимый мужским ужасом и могучей силой профессиональной инерции, попытался было затолкать хрипуновскую маму в фургонную, хлопающую брезентом тьму, но ловко обложенный с двух сторон хуями, сменил направление – и втроем, крякая и сопя (грузчик и Хрипунов-старший по бокам, причитающий шофер с тылу), они таки вставили хрипуновскую маму в кабину и, еще пару минут бес-

толково побегав вокруг фургона, с места на второй передаче рванули в роддом.

В дороге хрипуновскую маму немного отпустило, и она даже поулыбалась виновато, пытаясь устроиться поудобнее и тыкаясь толстыми глуповатыми коленками в тесную приборную доску, щедро разукрашенную аляповатыми овалами переводных германских девушек с роскошным оскалом и ухоженными, несоветскими волосами. Взмокший шофер с сосредоточенной яростью крутил выпрыгивающий из рук руль и автоматически, как мантру, бормотал – ты, того, дочка, того, дочка, того… – изредка, с брезгливым и жадным любопытством косясь на хрипуновскую маму, словно на полураздавленную колесом, издыхающую кошку.

Перед самым роддомом машину тряхнуло на колдобине так, что взвинченный шофер громко, как зевнувшая дворняга, лязгнул зубами, а в фургоне, гремя локтями и дружно покрывая яростным ебом всю родную советскую власть, посыпались друг на друга Хрипунов-старший и грузчик. Хрипуновская мама, совсем было успокоившаяся и даже повеселевшая, почувствовала, как судорога, задремавшая в низу ее осевшего, как весенний сугроб, живота, проснулась и с новой хищной силой вцепилась в позвоночник. Поскорей бы, дяденька, проскулила она, не дотерплю, ей-бо, не дотерплю… И тут новый спазм рванул изнутри ее намученное тело, рванул – и прямо сквозь белые просторные трусы выдавил на пол унизительно теплую, неостановимую струю.

В обитель материнства хрипуновская мама приехала с плавающими от эйфорической боли зрачками и долго не могла понять молоденькую раздраженную врачиху, которая твердила что-то про амниотическую жидкость. Да воды у тебя отошли или нет, Господи ты Боже мой! – взорвалась, наконец, докторша, и услышав, что – да, отошли, еще в машине, и что водителю пришлось дать за это целый рупь, потеряла к хрипуновской маме всякий научный и медицинский интерес, спихнув ее на руки толстой медсестре в потрескивающем на тугих боках белом халате.

Медсестра, веселая разбитная жлобовка, проворно повлекла хрипуновскую маму по всем кругам роддомного конвейерного ада – клизма, бритье лобка, душ, праздник переодевания в линялую сорочку с больничным клеймом – и все это с прибаутками, хиханьками и садистским, вполне палаческим матерком. Хрипуновская мама, поминутно вытирая мокрый ледяной лоб, бормотала – та я сама, я сама все – и натужно улыбалась: медсестру никак нельзя было злить, она могла подменить ребеночка, подсунуть какого-нибудь с кривыми ножками и заячьей губой, а то уронить маленького на кафельный пол, а потом сказать, что такой родился, – соседки говорили, в роддоме еще не такое вытворяют.

В разгар всеобщего веселья в дверь процедурной заглянула акушерка – с целью пригласить толстую медсестру на бизнес-ланч, состоящий из чая с рафинадом и загорелых баранок. А что? В двенадцать часов в роддоме все пили чай –

чего тут такого? Наличие кряхтящей от муки Хрипуновой акушерку огорчило, но не слишком. Она сама была трижды мамаша Советского Союза и потому знала – рожать дело хоть и добровольное, но тягомотно долгое. Иную первородящую распинало и корежило на дыбе высоких материнских чувств часов этак по двадцать с лишним. А ежели первородок десять? Да еще три палаты пузатых клуш на сохранении? Нет, ежели из-за каждой тресом исходиться, не то что чая не попьешь – на двор поссать выскочить будет некогда. Потому акушерка изобразила губами нечто вроде медного гонга, зовущего гостей к праздничному столу.

– Ща, – радостно откликнулась медсестра, девка холостая, нерожавшая, а потому относившаяся к бабьим страданиям с замечательно-профессиональным равнодушием. – Йодом ей тута намажу. А то мало ли… Давай, растопыривайся, мамаша. Покажь, бля, свои родовые пути.

Соскучившаяся ждать акушерка подтянулась поближе и с ленивым, чуть брезгливым любопытством заглянула в свежевыбритую, расцарапанную промежность хрипуновской мамы. Оттуда на нее, прямо сквозь цианозное, напряженное, больное и воспаленное даже на вид, смотрел кусочек пульсирующей макушки, покрытый слизью и длинными, как водоросли, липкими волосиками.

– Офуела… – сразу севшим шерстяным голосом прошептала акушерка, завороженно глядя на кровавое таинство, – совсем офуела… – И, с места взяв верхнюю октаву, заора-

ла: – Какой, на хер, йод! Головка прорезывается! Она рожает давно, а ты, бля, со своим йодом!

И обмякшую Хрипунову, собирая трубными криками бригаду и распугивая блуждающих по коридору животастых рожениц, в очередной раз то волоком, то под руки потащили в родзал.

До полудня оставалось всего ничего. Каких-то двенадцать минут и семь секунд.

Врач, дородная, с мелко плоеным перманентом и невиданными в те скромные годы золотыми сережками (между прочим, супруга главного инженера), хоть и принадлежала к самым заоблачным высям феремовской элиты, но – по природе своей – тетка была невредная.

– А ну тужься! – скомандовала она добродушно, как только хрипуновскую маму кое-как прикрутили к родовому столу и придали ей надлежащую позу. – Тужься давай. Это как это – не умееэээю… Какать умеешь? Значит, справишься…

Врач повернулась к акушерке и негромко спросила:

– Клизму хоть успели? Это хорошо… А на приеме кто должен был смотреть? Курочкина? Пусть ко мне зайдет перед уходом. Я ей, паршивке, головенку-то быстро на место поправлю…

И она снова сдобно загудела, теребя хрипуновскую маму, трогая ее то за разведенные колени, то за жилочку, живущую на запястье, и потихоньку уводя ее этими ненужными в общем-то касаниями, этим грудным бессмысленным разгово-

ром от смерти, до отказа наполнившей барабанный беременный живот. И прямо из этой смерти, из беспросветного провала, разрывая тоненькую плотскую перемычку, торопливо, по частям, продвигая на разведку то темя, то плечико, появлялся ребенок. Самый настоящий. Красный, сморщенный, липкий. Живой.

– Ты что же, мать моя, так торопишься – прямо как кошка, честное слово. И не орала совсем. Неужто не больно? Больно? Так чего молчишь? Крикни хорошенько. Муж-то есть? Видишь, как хорошо: у других нету, а у тебя и муж, и дите вон какое лезет… Зовут-то как? Таня… А мужа? Вот и крикни, Татьяна, чтоб Вова твой услышал. Давай вместе – на выдохе – ВовААА!!!!!

Хрипуновская мама шевельнула засохшим ртом, но крика не получилось, лампы, заливающие болью лицо, то приближались, опаляя нездешним жаром, то снова освобожденно взмывали к потолку, и тогда становилось еще больнее, просто дико больно, нестерпимо, и все равно нельзя было кричать. Не выходило. Никак.

– Все, не тужься больше. Не смей! Просто дыши, – вдруг рявкнула испуганно врач, хлопоча руками, но обезумевшая хрипуновская мама уже ничего не слышала, дугой выгнувшись под напором сокрушительной муки. Что-то между ее распяленных ног захрустело, будто рвущееся сырое полотно, боль, скрутившись тугой огненной спиралью, вдруг стала видимой, как свет – ослепительный конус черного, кипяще-

го света, пронзивший макушку новорожденного младенца и достигший глубин неба.

– Мальчик, – сказал за правым плечом утробный незнакомый голос, и хрипуновская мама вдруг увидела потрепанную детскую книжку с черными шершавыми буквами на обложке – Аркадий Гайдар – и тут все затянуло легчайшей, нежной, невесомой мутью, боль отхлынула, и на смену ей пришло лицо – безмятежное, странное и такое огромное – во весь потолок, во весь мир, во все небо – что хрипуновская мама даже не поняла – мужское оно или женское.

– Мальчик, – повторил жирный, круглый голос. – Двадцать второе августа. Полдень.

Девятисотлетний круг замкнулся, выцветший песок на аламутских камнях крутануло обратной – противосолонь – спиралью, и хрипуновская мама облегченно потеряла сознание.

* * *

Скальпели. Общехирургические. Специальные. Цельноштампованные – остроконечные и брюшистые. Большие. Средние. Малые. Скальпели со съемными лезвиями – остроконечные, брюшистые и радиусные.

* * *

Наутро в палату к опустевшим и сдувшимся, словно дирижабли, родильницам прикатили тележку, на которой вповалку – как поленья – лежали перепеленутые орущие свертки. Не орал только маленький Хрипунов. Желтый, отечный и невероятный, как все младенцы, он терпеливо позволил матери взять себя в руки, терпеливо пристроился к шершавому коричневому соску и, пару раз глотнув вхолостую, терпеливо принялся завтракать, отдуваясь, передыхая и изредка взглядывая на нависшую над ним бело-голубую громаду груди припухшими, мутными глазками.

Хрипуновская мама притихла, ожидая наплыва животной любви к новорожденному детенышу, но наплыва не было – было только острое и немножко брезгливое любопытство, как будто она снова была маленькая и снова подглядывала, как мать, глухо матерясь, топит в ведре выводок голых, копошащихся, немножко даже полупрозрачных мышат. Хрипунов мгновенно уловил волну первой в своей жизни неприязни, но опять смолчал, не стал отвлекаться, только выдул краем пустого беззубого рта мутный молочный пузырь – не то для того, чтобы задобрить напрягшийся и поскучневший мир, не то для собственного развлечения.

Хрипуновская мама движением, которое немедленно стало машинальным, промокнула сыну крошечные губешки и

принялась тайком рассматривать его, оглядывать, прикидывать, что-то такое внутри себя соображать, как будто стоя перед прилавком и выгадывая, хватит ли шмата желто-красной говядины, которую ловко вертит в руках равнодушный мясник, и на котлеты и на щи, и не окажется ли приглядный шмат дома ловко сложенным куском старого жира и натруженных воловьих жил. Она даже тихонько растормошила роддомовскую пеленку и пересчитала мизерные пальчики – разы-два-три-ой-разы-два-три-четыре-слава-те – по десять. На ручках и на ножках. И писюн на месте. И глазики, и нос, и заклеенный пластырем пуп. Но неприятное чувство все равно тихонько посасывало душу, иногда чувствительно прихватывая зубом какой-то нежный уголок, и тогда хотелось, взвизгнув, растолкать очередь крепкими локтями и с торжествующим воплем кинуть подтухший, бракованный сверток прямо в наглую морду продавца. Прямо в морду! Только кто же возьмет-то назад… Да еще без чека…

Хрипуновская мама тихонечко вздохнула и снова принялась разглядывать сына. Мальчишечка вообще-то получился ничего – уговаривала она себя саму – приглядный даже. Эка, лохматый только какой – прямо как не грудной. И правда, Хрипунов родился с длинной чернявой челкой и тремя аккуратными складочками на толстом желтом лбу. Складки были сложены в правильный треугольник, вершиной вверх, и придавали крошечному лицу какое-то странное выражение… Неприятно осмысленное, что ли… Ну, как если бы

в комнату вдруг вошла кошка, обычная домашняя Мурка с пятнами и зигзагами на серых боках и, сузив презрительные глазищи, вежливым, чуть дрожащим от раздражения голосом попросила сделать, в конце концов, чертов DVD хоть немножко потише.

* * *

Узлы. Обычный (простой) хирургический узел. Завязывание под натяжением. Инструментальные узлы.

* * *

Честно говоря, хрипуновская мама и сама толком не знала, зачем ей так нужен живой ребенок и чего она так томительно, тягуче тосковала и томилась, когда маленький все никак не хотел завязываться.

Это не была биологическая программа, та самая, которая превращает каждую вторую женщину от восемнадцати до двадцати пяти лет в ходячую яйцеклетку, безмозгло и жадно ждущую оплодотворения. Потому что никакого желания репродуцировать, выкармливать, тискать и холить крошечное младенческое тельце или хотя бы просто покрасоваться на улице с коляской хрипуновская мама не испытывала никогда. Мало того, чужие круглощекие младенцы тоже оставля-

ли ее совершенно равнодушной, и когда ее ровесницы, получив мощный пинок покровительственного инстинкта, скопом накидывались на чьего-нибудь визжащего и отбивающегося малыша, хрипуновская мама спокойно стояла в сторонке, и синенький скромный платочек в ее руках вел себя на удивление смирно. Ни пьянящий аромат зассанных колготок, ни липкие от потеков грязи диатезные мордочки, ни камлание над первым молочным зубком не волновали ее маленькую непроницаемую душу. Детей она не любила.

С другой стороны, не было в ее томлении по собственному плоду и ничего стайного или, мудрено выражаясь, социального. Хотя неписаный закон Большой демографии гласил, что каждой женатой паре положено воспроизвесть дите, да лучше не одно, потому как страна нуждается в том, том, этом и этом. И кто-то это все – то, то, это и это – обязан производить, а потом потреблять, и снова производить, чтобы имперский маховик продолжал пугать и радовать мир своей угрожающей и мощной бесперебойностью. Это не то чтобы кем-то декларировалось, просто было в крови. И на холостых потому смотрели осуждающе: ить, Петруха, все никак не остепенисси. Смотри, не женишься – сядешь! А на бесплодных – и вовсе с жалостной брезгливостью. Как на больных дурной, пакостной и – не ровен час! – заразной болезнью.

Но хрипуновская мама была, слава Богу, достаточно глупа, чтобы не вникать в мудрености народно-государственной

демографии. А Хрипунову-старшему было насрать в три вилюшки на народ, партию и правительство, вместе взятые. И когда на заводе гугнивый Лешка Воропаев как-то раз Хрипунова-старшего подъебнул – что, мол, не могешь, Вован, вдуть своей Таньке как следовает наследника? Больной, что ли? Так давай я подмогну! – Хрипунов-старший двумя сокрушительными плюхами доказал, что нет – здоровый. Сам справится, если что. И заводские послушно заткнулись, перенеся возбудительные беседы в кулуары и будуары, потому как Хрипунов-старший всегда был парень крепкий: в перерыв спокойно съедал поллитру и потом до конца смены лихо ворочал ящики, багровея вздувшейся шеей да изредка отдуваясь.

Конечно, можно романтично предположить, что хрипуновская мама просто любила хрипуновского папу и потому желала увековечить это и без того бессмертное чувство в виде визгливого пакета, перепоясанного розовой или голубой лентой. Так сказать – воплотить любовь в прямом смысле этого слова. Но что, что, скажите на милость, могла знать о любви хрипуновская мама? А сам старший Хрипунов? А тысячи, миллионы им подобных – все эти толпы с лицами, наспех вылепленными из хлебного мякиша, и крошечным зародышем души, едва пульсирующим в области желудочно-кишечного тракта? Что им было в этих абсолютно не эргономичных и утомительных исканиях и порывах, в этом надуманном самоуничтожении одной личности ради другой,

еще более ни в чем не повинной?

А Хрипунов… Хрипунов хотел стать Богом. Он вообще не имел права любить.

Потому оставим в покое любовь. Тем более что в тысяча девятьсот пятьдесят девятом году всем было и вовсе уже не до нее. Кубинский народ праздновал освобождение от диктатуры Батисты (как же звали бедолагу? Ах да – Фульхенсио!). Аляска стала сорок девятым штатом США и тоже на радостях упилась до упада. Советский Союз, впрочем, не отставал и, в свою очередь, ликовал – официально, ибо внеочередной XXI съезд КПСС объявил о полной и окончательной победе социализма в одной отдельно взятой стране, и неофициально, потому как наша сборная по футболу на первом кубке Европы сделала и чехов, и венгров, и невесть как затесавшийся в Европу Пекин. Правда, с китайцами и чехами матч был товарищеский, зато венграм в одной восьмой финала вломили один – ноль: помните, как Юрочка Войнов на пятьдесят девятой минуте размочил счет, заставив свой многомиллионный народ, взревев, приникнуть к радиоточкам? Но Войнов что. Вот Яшина Льва Ивановича, конечно, боготворили – это да.

Еще в пятьдесят девятом Хрущев посетил Америку (результат: царица полей кукуруза), тайфун Вера – Японию (результат: 5 000 трупов), в иноземных магазинах появилась кукла по имени Барби, а Хрипунов-старший пришел из армии. Так сказать, освободился с чистой совестью.

В родимом совхозе «20 лет без урожая» (он, кстати, существует до сих пор – и до сих пор перед центральной усадьбой этого совхоза разворачивается «лиазик», пыхтящий по маршруту с романтическим названием «Ясиновая», и кондуктор прямо так и объявляет гундосым голосом – «20 лет без урожая», впрочем, нынче это просто маршрут №6, но он ведь существует, имеется до сих пор, как до сих пор существует сам Феремов, что и вовсе уже волнующе, странно и невероятно), так вот – в родимом совхозе Хрипунову-старшему сдержанно обрадовались и даже что-то такое предложили – по части работы и, заметьте, по жилищной линии. Но свежеиспеченный дембель не обольстился, искушение богатством выдержал, зато сломался на сортире. Да, на сортире – на теплом армейском сортире, с коричневой гармоникой батареи парового отопления, кафельной плиткой на полу и стройной шеренгой чугунных, ребристых подошв, на которых и полагалось раскорячиваться над отверстым канализационным жерлом. Такой сортир был в казарме Хрипунова-старшего, и такого сортира не было в совхозе «20 лет без урожая». Не было и в ближайшую тысячелетку не ожидалось.

С раблезианским простодушием мочиться прямо с крыльца, а зимой мучить прямую кишку в ледяном дощатом нужнике, похожем на поставленный на попа дешевый гроб, Хрипунов больше не желал. А потому отправился – в поисках утраченного счастья – по тому самому маршруту «Ясино-

вая». Покорять город Феремов, серьезную административную единицу, сорок тысяч жителей, ДК «Октябрьский», два кинотеатра, пять школ, завод по производству искусственного каучука.

На завод Хрипунова-старшего, такого из себя молодого рослого армейца двадцати одного года от роду, взяли мигом – и еще бы не взяли. Пятилетку тогда положено было ляпывать ударно – за три года, а кому было ляпать, если даже на предельных мощностях работающая советская пенитенциарная система не справлялась с растущими потребностями поколения, которому пообещали прижизненный коммунизм. Ожерелье «химических» зон, нежно стискивающее феремовскую шею, не поспевало за поставленными партией и правительством высокими задачами. Поколение гнало вооружение с тем же ожесточенным пылом, с которым вечерами, уже на личное благо, гнало мутный низкооктановый самогон. Стране позарез нужны были ракеты, танки и самолеты. Ракетам, танкам и самолетам позарез требовались сальники, прокладки, манжеты, уплотнители, шины и прочая технологическая составляющая. Сделать все можно было только из искусственного каучука. Но делать было некому.

Зэков-химиков элементарно не хватало, феремовские работяги en masse задницу себе понапрасну не рвали – ты нам, начальник, сверхурочные сперва оплати, а мы подумаем, – а те, которые рвали, быстро помирали. Впрочем, как ни кру-

ти, довольно быстро помирали все: химическое все же производство, тяжелая промышленность I—II класса вредности, да. Тут никакие надбавки не помогут.

Посему заводской кадровик самолично пожал Хрипунову-старшему костистую лапу, заверил насчет общежития и предложил немедленно, прямо не сходя с этого места, вступить в КПСС. Для начала, знамо дело, кандидатом. Потому как пролетариат является идейной направляющей…

– Сортир в общаге есть? – грубо перебил Хрипунов-старший.

– Чего? – поперхнулся кадровик, мигом утратив номенклатурный лоск и превратившись в обычного полудеревенского мужика в дурацком галстуке на перекрученной потной резинке – лопоухого, тощего и, совершенно очевидно, неграмотного. – Какой сортир?

– Теплый. Я в холодную сральню ходить не буду, – стоял на своем Хрипунов-старший, старательно стискивая зубы, чтобы на скулах появились желваки – мужественные, как у старшины роты товарища Сергеенко, который за три армейских года исчерпывающе объяснил вверенному ему составу, что это такое – родину любить.

– В общежитии созданы все необходимые условия… – Кадровик, тряхнув головой, как после хорошего прямого в челюсть, пришел в себя и попытался установить патефонную иглу на ту же привычную пластинку.

– Ясно, – отрезал старший Хрипунов. – А жилье когда от-

дельное дадут? Ну, квартиру?

– Да ты женись сперва, сосок свинячий! – не выдержал наконец кадровик, и шея его медленно налилась углекислой кровью. – Ты смотри, права тут еще качает, говна кусок! Да мы за вас в войну… Да я таких на фронте…

– Жениться надо – женюсь. А войной вы меня не пугайте, у нас мир давно. Во всем мире. Нам так замполит в армии говорил. Между прочим – майор, – негромко, но грубо перебил Хрипунов-старший, который песню про фронт, говно и победу знал наизусть с тысяча девятьсот сорок шестого года. С восьми своих годочков то бишь. Уж наслушался от родного папаньки, слава Богу.

И оставив ошарашенного кадровика хватать воздух разявленным ртом, Хрипунов-старший, громыхнув запястьями, торчащими из тесного, доармейского еще, полудетского пиджачка, удалился в свое беспросветное будущее.

Редкая муха успевала пролететь между хрипуновским «захотел» и хрипуновским же «сделал». В полноценный химический ад, где среди ядовитых миазмов и шипящих котлов медленно шаркали тени в респираторах и огромных сапогах, он предусмотрительно не пошел – потому как наивно, но сильно хотел жить, и чтоб жена, и горячий ужин, и теплый сортир. Потому, едва освоившись в своем экспедиционном цеху, где вовсю гремели ящиками и транспортерами, старший Хрипунов зачастил в ДК «Октябрьский», где по субботам трудящимся крутили важнейшее из искусств и можно

было всласть нажраться в буфете и всласть же поплясать.

Супруга образовалась практически сразу: подошла в перерыве сама, пухленькая, вкусно выпирающая из модного крепдешинового платья (рукавчики фонариком, вытачки в талию, пышная юбка солнце-клеш). Посмотрела снизу – Хрипунов-старший был в ту пору длинный, дикий и грубый, как остевой волос, – и тоненько спросила: хочете потанцевать? Хрипунов, если честно, больше хотел выпить, потому как танцевать решительно не умел, но… Но жениться было совершенно необходимо.

Он честно оттоптал пригласившей его красоточке кукольного размера босоножки на танкетке (Тя как зовут? Таня. А вас? Вова. Володя, в смысле), а заодно и белые носочки, тесно стягивавшие толстенькие бутылочные щиколотки. Выпить она тоже согласилась – с легким, рассыпчатым хохотком – и с тем же охотным хохотком пошла за старшим Хрипуновым под лестницу, в тесный закут, где дэкашные уборщицы хранили швабры и закисшие коричневые тряпки. И там, в ароматном романтическом полумраке, среди громыхающих ведер и дряхлого инвентаря, обнаружилось, что будущая Хрипунова под платьем вся нежная, жирная, вздыхающая и живая, как округлый комок доспевшего дрожжевого теста, присыпанного сверху россыпью крошечных родинок – как будто тоненько молотой свежей корицей. У нее была изумительная тень – юная, предельно кинематографичная и необыкновенно хорошенькая: с выпуклыми ресницами, ак-

куратным носиком и замечательным, легким нравом – жаль, что никто так и не заметил этого, никто за целую жизнь.

А тогда, в подсобке, в самый ответственный момент, когда счастье, с трудом протиснувшись сквозь переломанные швабры и метлы, осенило соединившуюся пару своим порядком запыленным крылом, тень, зажав рот ладошками, радостно пискнула, Хрипунов-старший в последний раз дернул лохматыми ягодицами, и будущая мадам Хрипунова тотчас села, оправляя свой роскошно шумящий крепдешин и улыбаясь сладкими, как пьяные вишни, глазками. Вот глазки да, странные у нее были глазки – непроницаемые, влажные, чересчур быстрые – такие, что за ртутным их, жидким блеском иной раз было и не уследить. Да и некоторая раскосость – не сказать крылатость, артистичный, необычный, редкий разрез, когда верхний уголок глаза игриво и загадочно приподнимается к виску… Тут не кивнешь головой на татаро-монгольское иго, японцы называют такие глаза «глазами феникса» и сулят их обладателю изысканную утонченность натуры, хотя – ха! – откуда бы взяться в Феремове японцам и что бы делала с изысканной утонченностью молоденькая поварихша с заводской столовой, дочка Иваныча, наладчика из третьего цеха, миловидная дурочка с игривыми ямками на сдобных плечах.

Но все равно, странные были глаза. Очень странные. Не такие глаза должны быть у женщины, за спиной которой молчаливо толпились сотни поколений скучных тихих земле-

пащцев, на скорую руку сляпанных из кислого теста и безнадежной золы. Пожалуй, единственный, кто, заглянув в эти глаза, смог бы понять хоть что-то, был Хасан ибн Саббах.

Но Хасан ибн Саббах умер в 1124 году. Умер, и даже прах, в который превратились его кости, давным-давно переварило время.

* * *

Хирургические ножи. Ампутационный. Большой и малый. Резекционный. Прямой и брюшистый. Нож хрящевой. Нож мозговой.

* * *

Много глупого и дрянного говорили про Хасан ибн Саббаха. Еще больше глупого и дрянного говорят сейчас. А Хасан ибн Саббах был обычный человек – не Старец Горы и не исчадие ада. Обычный человек, просто Бог (ибн Саббах привык называть его Аллахом) зачем-то избрал ибн Саббаха и его дом, жен его и его детей и не отводил от них своего раскаленного всевидящего ока, так что даже во сне ибн Саббах чувствовал, как горит и выгибается его темя под тяжестью стянутого в огромный луч черного, невидимого света. И когда луч этот начинал пульсировать и шептать ибн Саббаху в

уши высоким нездешним голосом, Хасан ибн Саббах вставал и шел убивать. Всех. Каждого. Так что убитых невозможно сосчитать до сих пор.

Родился Хасан ибн Саббах в месяце Абанн 402 года солнечной хиджры (1024 год по григорианскому календарю) и до семнадцати лет прожил в Рейе – шумном персидском городе, полном неистовых торговцев, откровенных сумасшедших и густого смрада – хуже, чем в Персии, тогда воняло только в Европе. По рождению и воспитанию он был шиитом-дюженником, что бы теперь (и тогда) ни означало это слово. И должно быть, умер бы смиренным шиитом все в той же Рейе, если бы не ремесленник-чеканщик, тощий, безымянный человечек, который в одно пылающее базарное утро взял Хасана за молодое костлявое плечо и ввел его в причудливый, изысканный мир исмаилизма.

Это было волшебное время – время семи небес, семи земель и семи планет, семи цветов, семи металлов и семи звуков. И конечно же, семи лучших созданий Аллаха – первым из которых был Али, а последним – Исмаэль. А еще существует число двенадцать – жарко бормотал чеканщик, сгорбившись в своей крошечной лавке – двенадцать небесных знаков, двенадцать месяцев и двенадцать сочленений на четырех пальцах каждой руки, кроме большого…

И медь взвизгивала под его канфарником, как живая.

Потом настало время вопросов. Ибн Саббах заплевал лавку своими бесчисленными почему, но чеканщик только ка-

чал головой, блестя воловьими глазами, он был обычным городским сумасшедшим, самым низшим даи – дневным. И когда Хасан уже отчаялся насытить тяжело ворочавшуюся за грудиной душу, чеканщик привел его к своему соседу – шумному шорнику по имени Бу Наджим.

Наджим угощал мальчишку жирной бараниной и горячим чаем (Никогда не запивай баранину ледяной водой, сынок! Разве Аллах запретил это, досточтимый? Запретил бы, Хасан, непременно запретил бы, знай он, как от этого скручивает кишки!), Наджим чесал быстрыми пальцами редкую бороденку, ловко выщелкивая ленивых вшей, Наджим смеялся, вкусно шлепая мокрыми красными губами. Он знал ответы на все вопросы, даже на те, которые ибн Саббах не догадался задать. Но не ответил ни на один. Только дразнил, намекал, переходя с хохота на шепот, с хрипа – на крик. И все пересыпал, пересыпал свою хитроумную, узорчатую, сыромятную речь сурами из Корана, но так, что Хасан только вертел головой, понимая, что вот секундочка, секундочка, и – между двумя глотками горького чая – ему откроется истина. Но истина все не открывалась, как в танце семи покрывал, когда бешено извивающаяся плясунья все скидывает и скидывает с себя витки прозрачной бесшумной ткани, так что кажется, еще одно движение – и жадные зрители увидят крепкие, коричневые, блестящие от пота ягодицы, но ничего не происходит, лишь мелькает сквозь тонкий шелк и жаркое вращение смуглая тень вожделенной, таинственной плоти.

И только когда Хасан ибн Саббах смиренно понял, что не понимает ничего, старый ночной даи Бу Наджим удовлетворенно погладил его по склоненной голове и решительно каркнул – в Каир, в Каир, в Каир!

Все тайны мира обитали тогда в Каире – и каждый мог припасть к источнику, из которого, драгоценно мерцая и прихотливо перемешиваясь, били золотые струи чистейшего гностицизма и тихого христианства да текли темные воды каббалы, такие жуткие и горькие, что в них не отражалось ничего – даже Бог. В Каире Хасан ибн Саббах стал взрослым. И прошел девять ступеней бахира, девять шагов, отделяющих простого смертного от вечности.

Если честно, первую ступень – ступень сомнения в мире и доверия к учителю, Хасан прошел еще в Рейе. В Каире с него просто взяли клятву повиновения, клятву, скрепленную прахом и кровью.

Вторая ступень была ступенью имамов, источников всякого знания на земле.

Третья прояснила бредовый шепот чеканщика, ибо число семь оказалось шифром подлунной жизни и тайным числом имамов.

На четвертой ступени Хасана ждали семь законодателей, семь наместников – имя их было натик, говорящие. И каждому из них в помощь Аллах дал по семь помощников, по семь безмолвных теней – имя их было асас, немые.

На пятой ступени теснились двенадцать апостолов – семь

раз по двенадцать. Они служили помощникам и несли в мир тайну, открытую асасам.

На шестой ступени умер Коран, и Хасан ибн Саббах, содрогнувшись, открыл новую странную книгу, шелестящую тихими именами.

На седьмой ступени ему сказали, что Бог – это все кругом.

На восьмой оказалось, что это правда.

И в тот день, когда Хасану ибн Саббаху, побледневшему, осунувшемуся, с навеки горько и жестко сложенным ртом, позволили ступить на девятую, последнюю ступень, тугой столп искаженного света опустился на землю и как перстом уперся в голову нового наместника Аллаха на Земле.

* * *

Пилы. Пила анатомическая дуговая. Пила для разрезания гипсовых повязок. Листовая с металлической ручкой. Пила ножевая. Пила носовая Воячека. Проволочная витая. Пила рамочная. Перфоратор копьеобразный. Перфоратор нейрохирургический.

* * *

Он вернулся домой, в Рейю, чтобы перевернуть Персию вверх дном. Это оказалось до смешного просто: надо было

всего лишь не задумываясь слушать голос, пришедший вместе со светом, и знать, что все, кто не верит в этот голос, – не люди. То есть в прямом смысле. Не дети Адамовы, не сыны джиннов. Недочеловеки. Ну, что-то вроде опарышей – тех самых бледных, неприятно подвижных могильных червей, которые с напористой и нежной силой растлевают мертвую плоть, превращая банальную падаль в питательный гумус.

И еще ужасно и постоянно болела голова – всегда, каждый день, каждую секунду, целую жизнь кряду. Сейчас бы сказали – мигрень, и лечили бы ледяными обливаниями, сном и электрическим током. Тогда приходилось просто стягивать потуже голову куском пропотевшей ткани и часами ходить от стены к стене, чувствуя, как раскачивается в черепной коробке алый, бормочущий, раскаленный шар на суровой нитке: ловко бьет изнутри то по костяным вискам, то по глазным яблокам и потом вдруг быстро-быстро, как паук-крестовик, втягивается обратно… И все это в ритме шагов, в промежутках между вдохами, в ужасном режиме выжженной каждодневной жизни.

Легче становилось только ночью. Или когда делал шаг к истине очередной неверный. Еще легче, если неверный этот умирал. Падал, зарезанный в переулке тихим кинжалом; хрипел, пытаясь подцепить скрюченными пальцами удавку, впившуюся в глупое горло. Или катался по земляному полу, судорожно выхаркивая вместе с ядовитой блевотиной свою никому не нужную, убогую, уродливую душу. Но кинжалом

все-таки было чище. И надежнее.

Но просто выкашивать направо и налево безмозглых шиитов и суннитов, хитрозадых иудеев и припадочных христиан было глупо. К тому же Хасан вообще никого не хотел убивать – он, в отличие от голоса, хотел только покоя. Голос же горячечной издевательской скороговоркой требовал власти и смерти. Власти и смерти. И Хасан ибн Саббах пришел за властью, смертью и покоем в Аламут.

В мире больше не было и не будет места страшнее и неприступнее Аламута, построенного (не иначе как джиннами) на самой вершине отвесной скалы – так что, не уронив шапку, и не увидишь. Сложенная из сахарно-белого камня крепость – пятьсот с лишним шагов в длину, несколько шагов в ширину – на закате и восходе наливалась благородным пурпуром, но и случайные проходимцы, и профессиональные бродяги бормотали бредни про запекшуюся кровь и, разноязыко лопоча оберегающие молитвы, спешили по шуршащим горным тропам вниз, в долину. Чтобы, поужинав в деревне свежим влажным сыром (который до созревания натуго, как младенца, пеленали в соленое полотно) и, завернувшись в ветхий плащ, лечь под навесом прямо во дворе, среди горячих тесных овец, и долго смотреть сквозь ресницы, прорехи и наспех сбитые доски на то, как кружатся и дрожат крупные, как чирьи, звезды. И, пока сон не дернет за ноги, утягивая на тягучую, обморочную глубину, все слушать, как вскрикивает во сне случайный знакомец, такой же

нищий бродяга с войлочной бородой, – вскрикивает и, не просыпаясь, молится о милости и избавлении…

Попасть в Аламут можно было только по лестнице, хитроумно врезанной прямо в чрево горы. Оборонять эту лестницу хоть от армии головорезов мог один-единственный воин, сжевавший всего один-единственный комок душистого, маслянистого гашиша. Снаружи крепость была идеально недосягаема. И по сей день единственный склон, который обманчиво выглядит доступным, не способны взять штурмом даже пронырливые археологи. Да что там – по мириадам отвесно грохочущих камней не вскарабкались бы даже крепкие немецкие старушки в сверхудобных лаптях из экологически чистой концлагерной кожи на жилистых варикозных ногах – эти седовласые жрицы мирового туризма, болтливые весталки, потерявшие по одному краснорожему мужу в каждой из европейских войн и тяжело вооруженные глянцевыми буклетами и крошечными рюкзачками самых молодежных расцветок. Даже они не смогли бы попасть в Аламут, если бы, конечно, согласились заглянуть на экскурсию в самое сердце Ирана. Даже они.

Хасан ибн Саббах покорил Аламут одним взглядом.

Там, наверху, в крепости, была вода. Маленький сладкий родник, бьющий прямо из середины слезящегося серого камня. Это делало крепость еще неприступней. Но за едой – увы! – приходилось спускаться в долину. Редко – один раз в неделю, в месяц, в год, но – спускаться. И Хасан ибн Саб-

бах принялся ждать. Он умел ждать, потому что знал о своем будущем все. И не только о своем – голос давным-давно прокрутил ему в голове миллион разноцветных картинок: это были и яркие флэшевые мульты, и дурацкие короткометражки, вроде тех, что делала советская Грузия-фильм, и даже целые многосерийные саги совершенно цифрового качества и формата. Кое-чего Хасан не понял, кое о чем предпочел бы не знать вовсе, и потом, ретранслятор иногда барахлил, изображение прыгало, троилось, а один раз много дней подряд шуршал только надоедливый белый шум, но Хасан к тому времени не раз убедился, что голос не врет. И потому жить ему, Хасану, сто лет. И умрет он спокойной, благородной смертью в своем собственном доме, в крепости Аламут, и кровь, которой его фидаины зальют полпланеты, будет тихо и ласково, как море, лизать каменный смертный лежак, и кругом будут молча стоять убитые жертвы, покойные соратники, состарившиеся сыновья. Все сыновья, кроме двоих. Двое не придут, даже когда он будет умирать. И это Хасан ибн Саббах тоже знал давным-давно.

Комендант Аламута спустился в долину – за пахучим, полупрозрачным, вяленым мясом, жестким, словно шея советского прапорщика, двадцать лет оттрубившего в солнечном Туркменистане, за тонкими пресными лепешками, созревшим сыром и кислым молоком, которое хранили в прохладных бурдюках и давали тем, кого укусила змея или проворный шерстяной тарантул. С комендантом был охранник –

рослый молодой парень с круглыми смуглыми плечами и крошечным, сухим, как вишня, трагическим ртом. Он даже не вскрикнул, когда Хасан ловко вставил ему в печень тончайший лиловый клинок, повернув для верности лезвие – так и потом вот так – а только с глухим кряхтением осел в пыль, изумленно глядя, как медленно расцветает на его животе прекрасная персидская роза, жаркая, как поцелуй гурии, которая уже вертелась где-то там, в раю, перед бронзовым зеркалом, готовясь к встрече и стягивая в узел зеркально-черные волосы, и пупок ее, вмещающий, как это и заведено у красавиц, унцию камфарного масла, загадочно благоухал…

Комендант не боялся смерти: он был взрослый мужик, крепкий и жилистый, прожженный воин и достойный слуга Аллаха, да будет благословенно имя его в веках. Но не бояться смерти – еще не значит хотеть умереть прямо сейчас.

Жало, все в коричнево-красных стремительно застывающих сгустках, уткнулось коменданту в правое подреберье. Посмотри мне в глаза, добрый человек, негромко попросил Хасан, просто посмотри. Перст света, держащий на прицеле его темя, незримо качнулся, на миг оставив свою жертву, и хлестанул коменданта прямо по глазам. Ибн Саббах, непривычно лишенный привычной боли, жадно глотнул вечереющий воздух, комендант тоненько, как ягненок, взвизгнул и, зажав ладонями опаленное лицо, упал на колени рядом со своим мертвым телохранителем… Тебе больно, – с горечью

сказал Хасан, положив сухую, теплую ладонь на темя корчащегося человека. – Только я знаю, как тебе больно… Потерпи. Этой ночью, прошу тебя, сними охрану в Аламуте и в полночь пусти меня в крепость. Тогда, обещаю, твоя боль уйдет.

И мысленно добавил – ко мне.

Наутро в крепости суетливо обустраивались новые хозяева – таскали какие-то узлы, звякали оружием, сбрасывали со стен не успевшие застыть трупы, – словом, размещались. И только тело коменданта Хасан ибн Саббах велел похоронить по всем обычаям и до захода солнца. Это был добрый человек, устало сказал он, машинально поглаживая макушку, в которой снова пульсировал знакомый, перекрученный свет. Очень добрый. Пусть покоится с миром.

* * *

Швы. Простые. Вертикальные матрацные. Горизонтальные матрацные. Наполовину погруженные горизонтальные матрацные. Подкожные непрерывные. Швы с нахлестом. Непрерывные запирающие (затягивающие). Непрерывные матрацные. Кисетные. Непрерывные Ламбера. 8-образные. Швы Ламбера. Швы Холстеда.

* * *

Из роддома хрипуновскую маму никто не забрал. Многодневный запой по случаю рождения наследника, взвихривший полудеревенскую родню и счастливого папашу, к радостному дню иссяк, как тропический ураган, поглотив сам себя и окуклившись. Но сил выползать на иссушенный берег и собирать почерневшие корабельные обломки ни у кого уже не было.

Хрипуновская мама потопталась минуту-другую на крылечке роддома, поозиралась по сторонам и, приняв из рук ко всему привычной нянечки увесистый пакет с новорожденным, потихоньку пошла за угол – к автобусной остановке, где разъяренные с самого утра сограждане сначала крепко обматерили полоумную мамашу с младенцем, а потом, дружно наддав, воткнули ее со всего маха прямо в нутро вонючего пазика – да так ловко, что она проехала положенные пять остановок, так и не расплескав тихую, прозрачную, самую малость придурковатую улыбку.

Квартира, уже бессердечно позабывшая своих прежних евреев, дохнула ей в лицо молчаливым, инфернальным ужасом одинокого похмелья. Кое-как нагроможденная мебель испуганно отводила глаза, неподвижный потолок до краев наполнил собой застывшее на диване зеркало. Повинуясь привычному, вековому инстинкту, хрипуновская мама не

стала искать мужа среди зияющих коробок, а сразу уверенно пошла на кухню – тихую, выпотрошенную и страшную, как утро после ночного обыска. Хрипунов-старший полуоплывшей глыбой сидел за разоренным кухонным столом, всем неподвижным лицом уставившись в мутное заоконье.

– Вова, я приехала, – мягко сказала хрипуновская мама и, локтем сдвинув мелодичные стаканы, положила маленького Хрипунова прямо на липкий пятнистый стол.

Старший Хрипунов с усилием повернул затекшие шейные шарниры – изображение, двоясь, болезненно прыгнуло – и мучительно навел резкость. У него было неузнаваемо толстое, глянцевое лицо, словно наполненное изнутри жидким желтым жиром, и белесые, остановившиеся глаза человека, видевшего ад, но так и не поверившего в Бога. Он не то чтобы забыл, что жену надо забрать из роддома, – просто груз дрожащей, похмельной вины перед всем человечеством разом оказался сильнее непроснувшегося родительского инстинкта.

– Вова, – еще раз осторожно сказала жена, и два колючих зиккурата, грохоча, рассыпались в голове у старшего Хрипунова. Он поморщился и невольно прижал трясущимися ладонями виски, чтобы осколки не прорвали до боли натянувшуюся кожу.

– А-а-а… – откликнулся он. – А-а-а-м…

Это были первые за целое утро человеческие слова, которые он сумел протолкнуть сквозь скрипучую жестяную

гортань, и Хрипунов-старший вдруг сморщился, задергал небритым подбородком, не в силах унять мелких, беспомощных слез, которые, оказывается, колотили куда больнее привычной похмельной дрожи.

И хрипуновская мама одним взглядом, до самого глазного дна, вобрав грязную кухню, пустые бутылки под столом, растерянные стаканы, тесно обступившие вспоротые консервные банки, вперемешку набитые окурками и килькой в томате, вдруг разом – всей своей жалостной, русской сущностью – поняла, как страшно было мужу проснуться среди ночи в этой незнакомой, полной стонущих углов и душных призраков чужой квартире, где нет ни привычных нычек, ни родных соседей, у которых всегда найдутся спасительные сто пятьдесят капель. И как же долго он ждал, скорчившись, сначала рассвета, а потом ее – и все не мог дождаться, сидя тут, на самом дне своей боли, своего страха, своей невыносимой абстинентной вины. Она поняла это, как будто эта боль, этот страх, эта вина были невидимо отпечатаны на ней еще до рождения, и теперь едкий, мучительный, как реагент, свет сентябрьского полдня просто проявил их, словно мутное изображение на мокрой от усилий фотобумаге. И кинулась к мужу, как кинулась бы к залитому кровью, ревущему, испуганному, неловко упавшему сыну.

– Я как чуяла, как чуяла, – залепетала она, доставая из кармана обвисшего халата (того самого, в котором ее какую-то неделю назад увезли рожать) склянку медицинского

спирта – предусмотрительно за рупь купленную у оборотистой вертлявой медсестрички. Так, не забыть сполоснуть засвиняченный стакан и спустить воду, чтоб похолоднее. Потом половина девяностошестиградусного огня на половину холодной воды, дождаться, пока помутневшая, грозно нагревшаяся жидкость (я мигом, Володенька, потерпи еще секундочку!) сначала побелеет, а потом вернется к первозданной идеальной прозрачности, сполоснуть еще один стакан – на запивку…

Она бы напоила мужа из рук, как маленького, но все тот же могучий инстинкт приказал ей отвернуться, не смотреть, как мужчина униженно ловит прыгающими пальцами скользкое стекло, как, давясь, вливает спирт в перекошенное горло, и она покорно засуетилась у раковины, боясь оглянуться и не зная, куда приладить взволнованные руки. Хрипунову-старшему всегда мучительно давался первый глоток – у него был здоровенный, минимум на сотню лет сработанный организм, который не торопился к червям и сопротивлялся выпивке с невероятной, по-настоящему биологической мощью. Но Хрипунов-старший был куда упрямее эволюции, он знал, что после первого, гнусного, блевотного спазма к нему вернется привычная злость, вполне заменяющая характер, и тогда плевать ему будет на червей. Да на хую вертел он этих червей!

Услышав наконец знакомый, выворачивающий, рвотный звук, хрипуновская мама облегченно обернулась, сияя той

же тихой, спасительной радостью, что испытывают, должно быть, только примерные небесные ангелы, унесшие из-под самых дьявольских когтей полупрозрачную, мягкую, круглую детскую душку.

Хрипунов-старший все в той же позе сидел за столом, даже мокрые слезные дорожки на его щеках не успели просохнуть, но все в нем было уже другим: как будто в огромную тряпичную куклу резко вставили металлический штырь, и сразу стало ясно, что это не кукла вовсе, а живое существо, опасное, страшное, злое, но по какому-то дикому недоразумению засунутое в обмякшее кукольное тело.

– Сын… – сказал он почти внятно и совершенно спокойно, приметив наконец на столе молчаливый сверток в голубом, согласно половому признаку, одеяльце. – Как назвала?

– Аркашенька.

– Жи… жидовское имя.

И тут Хрипунов-младший наконец набрал полную грудь земного воздуха и – впервые в жизни – заорал, раздирая локтями и коленками неуютный байковый кокон и распахивая багровый, беззубый, бездонный, неистово пузырящийся рот.

Часть вторая
Промысел

Ложки. Ложка костная двусторонняя острая. Ложка костная острая жесткая. Ложка для выскабливания свищей двусторонняя. Комплект гибких ложек для удаления желчных камней. Ложка для взятия соскоба со слизистой прямой кишки односторонняя. Ложка для чистки кости. Лопаточка Бульского.

* * *

Даже в самых нелепых семьях есть свои традиции. У Хрипуновых, например, садились ужинать ровно в восемь вечера – всегда. Такая царственная пунктуальность предполагает либо льняную скатерть, фарфоровую супницу и фамильное серебро, либо пресловутую роскошь человеческого общения, когда семейство сгоняют за один стол не столько кухонные запахи, сколько наивная потребность погреться у обманного, болотного огонька родственных чувств.

Хрипуновы насыщались просто – без скатертей и излияний. Причем Хрипунов-старший по преимуществу не насыщался, а элементарно жрал, шумно и мерно двигая тяжелыми челюстями, так что к концу трапезы от него даже как

будто начинало ощутимо тянуть жаром и машинным маслом, как от хорошо прогретого большого механизма. Вообще ели невозможную, тяжелую, неудобоваримую дрянь: какие-то мясные обрезки, плавающие в желтом жидком жиру, раскисшую от сала жареную картошку, залитые топленым маслом макароны – отъедались разом и за военное детство, и за великую голодуху сорок шестого года. И генетический ужас перед этой голодухой превращал банальный, в сущности, процесс приема и переваривания пищи в нечто сакральное, пропитанное самой настоящей обрядовой, мистической жутью.

Например, за столом категорически запрещалось разговаривать и вообще – шуметь. За несанкционированные звуки (когда я ем – я глух и нем!) Хрипунову полагался звучный лещ – чуточку тяжеловатый для того, чтобы считаться по-настоящему отеческим. Недоеденный (или слишком жадно проглоченный) кусок карался еще одним лещом и угрожающе воздетой к потолку столовой ложкой (миф о том, как дедушка-покойник без разбору лупил за столом домочадцев по лбу чуть ли не оловянным половником, маленький Аркаша усвоил гораздо раньше, чем историю про трех медведей и колобка). А за раскрошенный (испоганенный) хлеб или тайно выловленные из молока пенки можно было схлопотать от верховного жреца и полноценную порку – потом, когда закончится служба, то есть, конечно, ужин.

Самой еды не лишали никогда, ни за какие проступки. Еда

– это было святое. Еда – это было. И ты нос-то, говненыш, не вороти. Привык с детства от пуза да на всем готовом. А мы с матерью в твоем возрасте желудовые пышки жрали, да. И ничего – выросли. Дай Бог каждому. Правильно я говорю, мать?

Хрипуновская мама готовно кивала, подперев мягкую (с ямочкой) щеку мягким (с ямочкой) кулачком и гоняя по губам туманную, розовую улыбку. Она бы, впрочем, согласилась с чем угодно, и всегда была готова согласиться с чем угодно, и соглашалась, и мгновенно сливалась с любым фоном, приспосабливалась к любому психологическому ландшафту – райская душка, абсолютная женственность, воплощенная глупость. Хрипунов только потом – спустя целую жизнь – понял, как повезло с женой его отцу, как не повезло с матерью ему самому. Как ему вообще – не повезло.

Но все церемониальные условности семейного ужина еще можно было вынести: в конце концов, Хрипунов был нормальным маленьким дикарем, целыми днями сайгачил со своей кодлой по окрестностям, и аппетит имел соответственно вполне дикарский. К тому же жрать можно было, слава Богу, как придется – с открытым ртом, чавкая, пыхтя, облизывая пальцы и громоздя локти на стол, лишь бы тарелка (общепитовская, с золотым ободком) в конечном итоге осталась пустой. И все, все можно было преодолеть, заглотнуть, зажмурившись и не жуя, – и вареный лук, и пенки, и куриную пупырчатую кожу, если бы не десерт, неминуемый и чу-

довищный, как конец света.

Ежедневно, заканчивая вечернюю трапезу, маленький Хрипунов, ощущая, как пульсирует в горле скомканный тошнотой желудок, надеялся, что какое-нибудь чудесное чудо помешает матери встать и вынуть из холодильника кошмар всей его жизни. И ежедневно, стоило Хрипунову-старшему корочкой подтереть с тарелки последнюю загогулину пристывшего жира, на столе появлялся эмалированный тазик. Белый, немножко облупленный с одного бока и чуть ли не до краев полный полураздавленными эклерами, обломками бисквитов, наполеонов, трубочек, корзиночек и прочих кулинарных шедевров. Сверху весь этот пирожный лом был украшен массивными котяхами крема – масляного, белкового, заварного, всякого – и посыпан шоколадной крошкой. И ежедневно – в три дружных столовых ложки – бездонный тазик полагалось опустошить. До дна.

Хрипуновская мама называла это – «побаловаться сладеньким».

* * *

Роторасширитель. Роторасширитель винтовой изогнутый с кремальерой. Ранорасширители универсальные микрохирургические. Ранорасширитель детский шарнирный. Для операций на слезном мешке изогнутый. Ранорасширитель для пластических операций.

* * *

Ворованный кондитерский брак приносила с работы, разумеется, она. Дело в том, что, оттрубив десяток лет поварихой в заводской столовой, хрипуновская мама вдруг сделала мощный карьерный рывок и перешла работать в городской кондитерский спеццех. Никакими особыми кулинарными талантами она, разумеется, не обладала, да и вообще, признаться, готовила скверно, хотя и с большим рвением. Смазливая и задастая поваришка просто приглянулась мелкому партийному боссу, который как-то – со страшенного бодуна – забрел в столовку к работягам с внеплановой и абсолютно дебильной инспекцией. Приняв из рук хрипуновской мамы запотевший стакан и выхлебав тарелку пустых пролетарских щей, босс проинспектировал вместе со спасительницей ближайшую подсобку, и через пару недель на столе у Хрипуновых впервые появился злосчастный тазик.

В первый раз Хрипунов даже обрадовался – не столько самим сложным углеводам (к сладкому Аркаша был с младенчества счастливо и блаженно равнодушен), сколько неожиданному переходу в другой социальный страт. Дело в том, что в Феремове сроду не видели в продаже ни одного живого пирожного, питая небогатые мозги и небалованные души исключительно соевыми батончиками да развесными леденцами, похожими на битое стекло, небрежно завернутое в

блеклые бумажки. Про спеццех тем не менее знали все. Но лишь немногим, избранным, блатным, чудом прорвавшимся в горкомовский сводчатый буфет или на закрытую распродажу по случаю очередного пленума или съезда местных идиотов, лишь этим счастливчикам удавалось увидеть или даже вкусить сложное, архитектурное, полное негой и нугой, дышащее зефиром и эфиром и обляпанное жирными кремовыми кляксами произведение ценой в двадцать две советские копейки.

Были, конечно, еще совсем уже высшие существа, покидавшие феремовские границы, знававшие другие города и даже саму Москву и утверждавшие, будто пирожных на Земле великое множество и продаются они на каждом углу, но Хрипунов-младший с этими небожителями лично знаком не был. Мало того, втайне он довольно долгое время был твердо уверен, что никаких других городов (тем более – Москвы) не существует вовсе, что это просто такой ловкий ход (сейчас бы сказали – рекламная акция), а на самом деле границы всего сущего и горнего мира аккуратно и плотно, как пробка в бутылке с подсолнечным маслом, заполнил собой пыльный, провонявший кислым химическим дымом, крошечный Феремов. И – знаете что? – какое-то время так оно и было.

Поэтому тазик с давлеными пирожными – это был не просто тазик. Это был знак – что-то вроде влажной яркой метки, которую оставляет на лбу побледневшего от волнения неофита твердый, как будто даже эбонитовый палец жреца. К

сожалению, радость младшего Хрипунова очень быстро сменилась отчаянием. Во-первых, про «сладенькое» нельзя было нахвастать во дворе, а о том, чтобы вынести какой-нибудь наполеон поцелее и угостить своих, вообще не могло быть и речи (хрипуновская мама истерически – на уровне кровяной плазмы – боялась угодить в тюрьму за хищение народного достояния в особо сладких размерах). Во-вторых, пирожные – жирные, давленые, отвратительные – уже на третий день превратились из источника социальной гордости в тошнотворную кару. Так Хрипунов – в возрасте десяти лет – понял, что неограниченно владеть тем, о чем мечтают все остальные, не только скучно, но и тяжело.

И долгие годы спустя – всю жизнь – даже когда не стало отца, даже когда сам он стал взрослым, старшим и единственным Хрипуновым, он, словно заведенные до предельного кряка настенные часы, зачем-то садился ужинать ровно в восемь – всегда. И всегда, приканчивая какой-нибудь легкий салатик (пара зеленых листьев, лимонный сок, ни грамма масла) и кусок клетчатой от гриля золотистой рыбы, он желудком чувствовал тень священного белого тазика и желудком же – длинно и медленно – содрогался, отодвигая полуразоренную тарелку, откладывая тонко звякнувший нож. Ни разу, став взрослым, старшим и единственным Хрипуновым, он не доел ничего до конца, демонстративно оставляя самый аппетитный, солнечный, едва тронутый кусок. И ни разу не взял в рот ничего сладкого. Ни разу. Не мстил, нет.

Просто наслаждался свободой.

Изогнутый официант рысью спешил к солидному, постоянному клиенту – опять не докушали, Аркадий Владимирович, неужели не вкусно? – и быстрыми птичьими движениями освежал стол, поправляя скатерть, убирая приборы, откуда-то из воздуха извлекая серебряный игрушечный подносик с кофейной чашкой и серебряной же сахарницей – и все это разом, все это множеством бесшумных, длиннопалых, бескровных, жутковатых рук. Хрипунов, чуть откинувшись, чтобы не мешать этому профессионально-элегантному мельтешению, неторопливо закуривал, чувствуя, как укрощает мучительную спазму горячий (лиловатый на вдохе и коричневый на выдохе) сигаретный дым.

– Сахарницу уберите, пожалуйста, – привычно просил он. Не капризничал, не требовал, не лебезил, не хамил – именно просил, как просит один человек другого человека подержать, например, газету, пока он, один человек, завяжет не вовремя развязавшийся шнурок.

– Да я помню, Аркадий Владимирович. Вы сладкого не любите, – привычно же отзывался официант, покладисто растворяя в атмосфере ненужную сахарницу. – Нам положено просто так подавать.

Хрипунов спокойно кивал, и официант послушно исчезал вслед за сахарницей, довольный и даже польщенный неизвестно чем – уж точно не будущими чаевыми, которыми в Москве кого и удивишь, разве что совсем уже неотесан-

ную, вчера только из Уляляевки прибывшую лимиту. Да и та быстро начинала соображать, что купеческий размах, битые зеркала и наклеенные на холуйские лбы сотенные – это все тьфу, дешевка, шушера, которая гоношится перед завтрашней пулей, а вчера еще сама топталась у чужого стола, заведя за угодливую поясницу жадную, скрюченную от нетерпения, загребущую руку. Нет, ресторанная обслуга (а также водители, горничные, сиделочки – словом, вся возродившаяся из социального пепла неисчислимая и мстительная ЧЕЛЯДЬ) на самом деле реагировала всего-навсего на хрипуновскую интонацию – очень простую, очень царских и древних кровей, реагировала мгновенно и уважительно, потому что почеловечески с ними разговаривали редко, так редко, что и память об этом у челяди имелась исключительно генетическая, но оттого не менее приятная.

Однако же Хрипунов барина никогда не ломал, да, пожалуй, и не сумел бы. Просто привык держаться такого тона со всеми, то есть – абсолютно со всеми людьми. Он вообще никогда не хамил и никогда не напивался, хотя бы потому, что был сыном хама и алкоголика, а если его слишком долго не понимали – просто смотрел яркими, как у немецкой овчарки, почти оранжевыми глазами: спокойно, внимательно, с некоторым зоологическим, естествоиспытательским даже интересом. И, странное дело, это помогало.

И еще как помогло, только вот хрипуновский папа, алкоголик и хам, не имел к этому ни малейшего отношения.

Дело было не в нем. И даже не в самом Хрипунове, а в том, что неподвижно, как ил, стояло на дне, ждало своего случайного камня, чтобы тяжело ухнуть, вскрикнуть, всплеснуть, обдать облаком мрачной мути – да так, чтобы все на одно ледяное острое мгновение поняли, что это и не ил вовсе, и не коряга на дне, да что там – это вовсе и не пруд, и не примолкшая рощица на берегу, и не человек это стоит там, ссутулившись, на пасмурной траве, не может быть у человека такой спины, и не молчат так люди, и… Господи, если ЭТО сейчас обернется, то непременно ахнет и, оборвавшись, покатится прямо по песку (собирая влажными боками камешки и сухие хвоинки) пульсирующее, красно-сизое, перенапрягшееся сердце.

* * *

Зеркала. Зеркало Дивера. Зеркало Дуайена. Легочное зеркало Эллисона. Почечное зеркало Федорова. Зеркало двустороннее по Ричардсону. Зеркало ректальное двустворчатое операционное. Зеркало для брюшной стенки. Зеркало для отведения печени. Зеркало для сердца.

* * *

В первый раз это шевельнулось, когда Хрипунов, сопли-

вый еще совсем шестилетка, увязался за шелупонью постарше в больничный сад – воровать барбарис. Барбарис в Феремове вообще-то не вызревал, то есть до ягод дело не доходило никогда, но авитаминозная шпана охотно жрала кисловатые барбарисные листья и еще охотнее ломала и крушила кусты – просто так, от бездумной потребности сбросить лишнюю, злую, дикую энергию.

Сохранность барбариса и всего прочего в больничном саду блюла бабка Хорькова, больничная сторожиха (совмещавшая этот нелегкий труд с обязанностями больничной же дворничихи). Баба она была гигантская и свирепая, как тарбозавр: правонарушителей безжалостно лупила метлой и, садистки вывернув ухо, волокла прямиком в детскую комнату милиции. Но вот что странно: на нытье, скомканные рубли и на страшные клятвы намотать кишки на голову бабка Хорькова, несмотря на очевидную плотоядность, реагировала не как хищник, а как самый заурядный диплодок – то есть медленно поводила крошечной, как лесной орех, головой, отдувалась и продолжала свое несокрушимое, непреодолимое, мерное движение в сторону инспектора по делам несовершеннолетних.

У этой махины было одно-единственное слабое звено – она не только думала, но и бегала, как диплодок. И потому схватить могла в лучшем случае одну-единственную особь. Самую – по всем неумолимым законам биологии – слабую, хилую и молодую. Остальные успевали не только

вдосталь нажраться барбариса, но и удрать, сохранив тем самым священную целостность популяции. И частенько сметливая шпана брала с собой такую жертву специально.

Хрипунов, в свои шесть с небольшим лет еще не вполне уяснивший истинную сущность человеческой природы, предложением «сгонять за кислушками» был польщен и потрясен, как новобранец, впервые допущенный облобызать полковое знамя. Оказавшись в барбарисовых зарослях, он сразу ошалел от зеленых, золотых, лопочущих солнечных пятен и острого аромата летней перезрелой зелени и застарелой мальчишеской мочи (напрудить и нагадить в излюбленном месте дебильная феремовская поросль всегда считала делом чести). Кругом хрустело, ломилось, журчало, материлось и в десяток челюстей жевало кислую листву, а очумевший Хрипунов бездельно стоял посреди этого душного палеозойского великолепия, сжимая в руке колючую барбарисовую ветку и глупо улыбаясь, пока маленькое круглое солнце не переползло с его щеки на его же темную макушку. И тогда шпана вдруг разом перестала чавкать, навострила уши и, секунду помедлив, дружно ломанулась в сторону родного двора.

Хрипунов всегда был плохо приспособлен к стайной жизни – ему недоставало того великолепного, бессмысленного автоматизма, с которым огромная птичья стая вдруг разом делает общий поворот на девяносто градусов, на мгновение выложив на небе сложную и мрачную пиктограмму, и ни од-

на безмозглая ворона не путает право и лево, и ни одна не задевает другую даже кончиком сального, зеленовато-лилового пера. Хрипунов так не умел. И потому, когда все уже почти преодолели проржавевшую колючку, он все переминался на больничной дорожке, старательно соображая, что в его положении будет солиднее – протиснуться боком сквозь шипастую дыру или попробовать махнуть верхом, как большому.

Бабку Хорькову он, погруженный в свои мучительные апории, разумеется, прошляпил, и никто не крикнул ему атас, никто не свистнул даже, что было, с одной стороны, совсем уже подло, а с другой – совершенно справедливо, потому что кто бы и что сделал Хрипунову в детской комнате милиции – это шестилетке-то? Да его б на учет даже не поставили, блин. Кому он на хер нужен – сопля?

Удивительно, но бабка Хорькова оказалась не типичным хищником. Неподвижно стоящая у забора добыча (в синих пузырящихся на коленях трениках и грязноватой майке), как ни странно, распалила ее аппетит гораздо больше, чем цветовые пятна, с шумом и треском скрывающиеся вдали. Тарбозавр поступил бы иначе. Но бабка Хорькова презрела биологию, она неслась на Хрипунова, как паровая машина Черепанова, она пыхтела, лязгала поршнями, и метла ходила в ее раскаленных лапах, словно кривошипно-шатунный механизм.

Смешно, но Хрипунов так и не услышал этого торже-

ственного прибытия. Он просто ощутил, как волна ненависти (сильнее, гораздо сильнее той, что он чувствовал обычно), вздувшись, толкнула его под лопатки, и обернулся посмотреть, что это там такое, елки-моталки, что это и откуда оно взялось. И бабка Хорькова, уже взмахнувшая метлой, уже разогнавшаяся до критической, орбитальной почти скорости, вдруг увидела, как щуплую мальчишескую фигурку (все те же треники, все та же майка, прозрачные от солнца малиновые уши) подернуло странной рябью, на миг растворило в полуденном мареве. И только глаза, желто-оранжевые, почти йодистые, совершенно спокойные, смотрели на нее из этого марева, из этой ряби, и такие это были недетские да и вообще – нечеловеческие глаза, что бабка Хорькова на полном скаку, словно налетев на бетонную стену, остановилась, взбороздив копытами песчаную дорожку. И утирая багровый лоб, пошла куда-то в сторону, прямо по драгоценным своим клумбам, бормоча про чертову жизнь и чертову гипертонию и чувствуя, как ползет по жирной спине ледяная, длинная, подсыхающая дорожка пота.

Хрипунов, так и не успевший испугаться, удивленно посмотрел, как бабка, глухо ворча и переваливаясь, скрывается в больничной чаще, и неторопливо полез сквозь колючую проволоку. Все же прыгать верхом ему было пока несподручно. По малости-то лет.

* * *

Зажимы. Травматические – тканевый зажим Эллиса, тканевый зажим Лейна, влагалищный зажим на шейку матки (пулевые щипцы). Атравматические – кишечный зажим. Зажим медицинский желудочный со щелью. Зажим для временного пережатия сосудов с кремальерой, сильноизогнутый. Зажим кишечный жесткий. Зажимы для ушка сердца.

* * *

В Аламуте Хасан ибн Саббах занял самый скромный домишко, вросший стеной в каменную кладку, и на вопрос, почему, распевно произнес – во имя Аллаха милостивого, милосердного – увлекла вас страсть к умножению, пока не навестили вы могилы. Так нет же, вы узнаете! Потом нет же, вы узнаете! Нет же, если бы вы знали знанием достоверности… Вы непременно увидите огонь!

В домишке сновали две жены ибн Саббаха, два непроницаемых столбика пепла, два кокона, две черные тени – повыше и пониже. Никто никогда не видел их без чадры. Говорили, что даже сам Хасан.

От двух жен у него было шестеро здоровых, крепких,

смирных сыновей и одна дочка, прожившая от роду семнадцать минут. На восемнадцатой минуте Хасан велел второй жене, младшей, той, что не рожала, а суетилась у роженицы между ног с теплыми лоскутами и кувшином воды, сбросить ребенка со стены. И добавил – голосом тяжелым, как глина, и таким же сырым – прямо сейчас.

Вторая жена послушно опустила огромные ресницы, так что тень от них легла даже на плотную чадру, и, подхватив сучащую ножками красную девочку, молча выскользнула из дома в предутреннюю темноту. А та, что рожала, так же молча отвернулась к стене и, пока не рассвело, все глядела, не жмурясь и не моргая, на плотную каменную кладку… Но так и не посмела заплакать.

* * *

Ножницы. Шарнирные. Гильотинные. Горизонтально изогнутые. Вертикально изогнутые. Тупоконечные ножницы – прямые и изогнутые (Купера). Глазные (микрохирургические) ножницы. Реберные ножницы. Ножницы-кусачки реберные. Ножницы реберные гильотинные.

* * *

В отрочестве Хрипунов был на вид самым заурядным

шпаненком – тощим, угрюмым и совершенно диким. В нем не было ровным счетом ничего симпатичного: ни забавного, неуклюжего благородства, ни доверчивой (чуть исподлобья, чуть в сторону) молочной улыбки, ни отчаянной ежеминутной готовности кого-нибудь с визгом и гиканьем плющить и защищать – словом, ничего того, что делает нормальных мальчишек семи—двенадцати лет такими трогательными и настоящими.

Хрипунов был другой. Никто не пичкал его Раулем де Брикассаром и краснокожими вождями, никто не кормил вместе с ним бездомных щенков и не устраивал им в подъезде домик в картонной коробке (пойди попроси у мамы каких-нибудь ненужных тряпок на подстилку, сынок), никто не рассказывал ему перед сном про войну и не учил выпиливать лобзиком. Впрочем, никто вообще никого ничему не учил. В Феремове (как и в миллионе таких же дрянных, закисших, уездных городков) детьми интересовались только в самом зоологическом смысле: здоров, накормлен, ботинки целы – и порядок. И был в этом, знаете ли, свой, особый, высший, далеко не каждому понятный гуманизм. Ибо зачем бессмертная душа существу, которое все равно сгниет на заводе по производству искусственного каучука? Чтобы по достоинству оценить живой, жидкий, лунный блик на донышке отброшенной к забору водочной бутылки? Или чтобы насладиться багровым, пухлым, мясистым дымом, лежащим прямо на острие копченой заводской трубы?

Местная урла, подрощенная, злая, закаленная бесконечными приводами в детскую комнату милиции и уже привитая парой первых ходок по малолетке, попыталась было приохотить Хрипунова к своим нехитрым радостям (портвешок и карты в заросшей сиренью беседке, бесконечная игра в расшибалочку да мелкий гоп-стоп на пьяных ночных улицах), но от портвейна Хрипунова рвало красными густыми звездами, а гоп-стопничать с ним не было никакого кайфа. Ему было просто неинтересно. И пока стая визгливых сатанят азартно пинала ногами какого-нибудь мычащего заводского алкаша, мучительно ворочающегося в роскошной провинциальной пыли, Хрипунов все больше стоял на углу, на стреме, равнодушно наблюдая за сонным лопотанием липы, внутри которой – прямо в хлопотливой кроне – возился со шмелиным гудением уличный фонарь, пытаясь не то, ворча, выбраться наружу, не то зажечься наконец в полную силу. Но ничего не выходило, и фонарь только мигал иногда бессильными, лиловатыми, короткими вспышками, выхватывая из темноты то лужицу черной, как нефть, маслянистой крови, то странно вывернутую ногу в стоптанной сандалии, то расплющенную банку из-под гуталина – жалко, что растоптали, можно было сделать зэкую битку…

Потому Хрипунова быстро оставили в покое, убедившись только (довольно кроваво), что он не трус и в ментовку не побежит, а так – ну с припиздью, конечно, парень, но все-таки свой. Ага, свой. И два раза подряд ошиблись. Потому,

что был, во-первых, никакой не свой. Во-вторых, самый настоящий трус.

Да, маленький Хрипунов был трус. И трусил, как и положено в его возрасте, великого множества самых разных вещей, далеко не всегда, кстати, очевидных. Например, он здорово боялся собственных родителей, хотя по феремовским меркам его, считай, почти и не лупили. И кротчайшей ангелической матери, как ни странно, Хрипунов боялся больше, куда больше, чем отца. Потому что отец был ясен, как бином: пьяного его следовало обходить, а трезвого – обходить еще дальше, к тому же отец Хрипуновым почему-то откровенно и неприкрыто брезговал, как брезгуют мышами или, скажем, тараканами – и это было хоть и обидно, но зато по-человечески понятно. Хрипунов сам тараканов (рыжих, глянцевых, бесшумных) не выносил.

С матерью все было запутано – она была совсем не по правилам, потому что (это если по правилам) она должна была быть на хрипуновской стороне, но не была, несмотря на существовавшую между ними прочнейшую, острую нитку. И Хрипунов-младший нитку эту ощущал всегда – как некое упругое, странное и иногда болезненное натяжение от материнского пупка к своему – и знал, что и она эту нитку чувствует – и еще как. Но, несмотря на это натяжение и несмотря на то что Хрипунов был один-единственный (по феремовской терминологии – кровиночка, за которую мамаше следовало биться насмерть, сипя клокочущим разинутым клювом

и распушив потрепанный хвост), мать была к нему как-то биологически равнодушна. То есть совершенно. А потому к ней – такой на вид ласково-округлой, нежной, живой – было бессмысленно приносить кроваво ссаженные об асфальт ладони или покалеченного синего зайца с надорванным брюхом. То есть она, конечно, старательно смазывала и сшивала, но так, что сразу видно было, что ей все равно.

Но зато как, как она смотрела «Три тополя на Плющихе»! Как в омут, как в зеркало – дрожа круглым подбородком, всхлипывая, ничего не понимая от слез, тискающих грудь, вполне доронинскую по выпуклости, но совершенно, совершенно, совершенно пустую для Хрипунова. Ма… Погоди, милка, я щас… Никогда не называла Аркашей, Аркашенькой, Кашкой. Очень, исключительно редко – Кадя, но это уж когда все негармоничные углы мира складывались в идеальный узор, в сердцевине которого сияла не пропитая отцом и донесенная до дома тринадцатая зарплата. Очень редко. А так все – милка да милка – с протяжной такой, деревенской интонацией. Будто звала загулявшую где-то надоедливую козу.

Отец же вообще не называл никак. Презирал.

Еще маленький Хрипунов боялся войны. Этот страх был самым сладостным и ярким. С пророческим, надменным простодушием Хрипунов валил в свой детский Апокалипсис фашистов (готическая жуть черных свастик, желудовые пышки из подслушанных рассказов про эвакуацию, пылаю-

щие гуашью «тигры» и «мессеры» среди черных альбомных каляк-маляк); Хиросиму (Садако Сасаки с лейкозными журавликами, обугленная тень испарившегося мячика на выжившей стене); ядерную войну (а потом тыщу лет будет идти снег, черный-пречерный, и все сгорят заживо, а потом замерзнут, и жить останутся только тараканы – тоже черные-пречерные. Величиной с дом. А Мурка тоже замерзнет? Ага. А мама? И мама. Да подбери ты сопли, байстрюк, ладно, останется твоя мама. С тараканами.). И к страхам этим, понятным и узнаваемым, мешалась почему-то в жизни не виданная пустыня – раскаленная крупка, больно секущая лицо, и ветер, рисующий на камнях странные горячие спирали…

Еще Хрипунов боялся бледного коня и тысячеглазого ангела из рассказов придурошной суеверной старухи, которая жила за хрипуновской стенкой и изредка – по-соседски – подряжалась понянчить маленького Аркашу. Бабка, бравшая за бебиситтерство исключительно жидкую валюту, спилась со скоростью чукотского оленевода и была увезена матерящейся невесткой в деревню – ***сдыхать***, но конь и ангел остались. И еще много лет осторожно заглядывали в воспаленные сновидения Хрипунова, подталкивая друг друга и деликатно просовывая в пронизанный инфернальными сквозняками дверной проем свои многоочитые, причудливые и оттого особенно чудовищные лица.

Надо сказать, со снами у маленького Хрипунова вообще было не все в порядке. То есть всем детям снятся темпе-

ратурные кошмары – мучительные, со слезами и криками на весь пропотевший, ночной, всхрапывающий дом. На малышей попроще наводят ужас бабки-ежки, лешие и прочие нехитрые фольклорные монстры, детям из приличных семей видятся чудовищные цифры и огненные шары. Но главное, что все эти кошмары годам к десяти исчезают бесследно, оставив о себе только потусторонний холодок, немеющий валидольный след на душе – тихое свидетельство того, что смерть все-таки существует.

У Хрипунова все было не так. Во-первых, его кошмар был не связан ни с воспаленным горлом, ни с сезонными простудами. Во-вторых, он снился Хрипунову и в шесть лет, и в десять, и в тринадцать, и в тридцать пять, вызывая совершенно одинаковые, словно под копирку срисованные, чувства. Мало того, еще укладываясь спать, Хрипунов заранее – по невнятному гулу внутри себя – знал, что сегодня опять, и что никаким усилием, ни молитвенным, ни мускульным, нельзя предотвратить мерный ход надвигающегося кошмара. Сначала всегда появлялась пустыня – выжженный блин бурой безмолвной земли, ни былиночки, ни ветерочка, и только на горизонте громоздились, нет, не горы, что-то похожее на горы, какая-то громадная застывшая каша, тихая и оттого особенно жуткая. Потом откуда-то сбоку выползала голова – просто голова, отдельно. Это был не зверь и не человек: что-то шерстяное, безглазое, без подробностей, как будто жирное пятно на сетчатке, и не сморгнешь его, не разгля-

дишь. Голова молчала какое-то время, а потом принималась нечленораздельно бубнить, то ускоряясь, то гнусаво растягивая длинные слоги, пока не начинала завывать, словно отчаявшийся глухонемой или не на той скорости играющая пластинка. И немного не в такт этим завываниям – прямо из горизонта, из тех гор, которые на самом деле никакие были не горы, начинало плавными толчками наплывать на Хрипунова огромное лицо, невнятное, тихое, неподвижное. И в самый последний момент – всегда в самый последний – Хрипунов замечал, что между ним и лицом, прямо среди песка, растет крошечный цветок – элементарный, почти с детского рисунка: четыре круглых лепестка и дрожащий тонюсенький стебель. И в ту секунду, когда приближающееся лицо должно было слиться наконец с Хрипуновым (или наконец его поглотить), Хрипунов, отчаянно раздвигая неуклюжие кисельные слои сна, зачем-то прикрывал цветок ладонями, и лицо – под совсем уже невозможный речитативный вой головы – начинало наливаться таким невиданным светом и смыслом, что Хрипунов не выдерживал и просыпался от собственного вопля, насквозь мокрый от жаркого ужаса и физически невыносимого счастья. Физически невыносимого, да.

Но больше всего – больше войны, матери и бледного коня – Хрипунов боялся дяди Саши. Дядя Саша был феремовской легендой. Он был лыс, хром и работал санитаром в морге. И каждого из перечисленных симптомов хватило бы для того, чтобы потрясти нетренированные мозги феремовских

малолеток, но воссоединенные, они делали дядю Сашу единовластным королем детских кошмаров. Говорили, что он был партизаном. Что его поймали и зверски пытали гестаповцы. Что он всю войну прожировал полицаем в одной деревне и его до сих пор ищут недобитые односельчане, чтобы предать огню и мечу. Что в гражданскую он был оруженосцем самого Котовского. Что он должен, просто обязан был полететь в космос вместо Поповича, но во время тренировок взорвалась центрифуга, и дядю Сашу списали вчистую.

Еще говорили, что он вор в законе, цыганский барон и ебется с трупами.

Но с «ебется» вообще не все было ясно – даже в одиннадцать лет. Хрипунов, еще лет в шесть выслушавший по этой части от старших товарищей энергичный пропедевтический курс, в самый кульминационный момент закашлялся, захлебнувшись беломорным дымом, и в результате остался при странной смущенной уверенности, будто «ебутся» – это когда дядька и тетка стоят возле одной дырки (возможно, в полу) и одновременно в нее писают. Какой в этом бессмысленном занятии мог быть кайф и какая тайна – было совершенно неясно. Но уточнять и переспрашивать значило выдать свою сопливость с головой, и потому Хрипунов, отдышавшись и вернув пламенеющим ушам привычный колер, просто смирился с имеющимися фактами, рассудив, что взять со взрослых особо нечего, и что в водке, например, тоже радости немного, что не мешает взрослым со страшной

силой ее жрать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.